



Уильям Шекспир

Поэмы

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8957116
Поэмы и сонеты / Уильям Шекспир: Эксмо; Москва; 2014*

Аннотация

Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах. «Лукреция» также имела немалый успех у читателя, в основу поэмы положен сюжет из древнеримской истории, описанный Титом Ливием и Овидием, пересказанный Дж. Чосером в «Легендах о добрых женах».

Дискуссии вокруг сонетов Уильяма Шекспира до сих пор не утихают: действительно ли сонеты автобиографичны? Существовал ли любовный треугольник, о котором говорится в сонетах 133, 134 и 144? Кто был прототипом Друга и Смуглой дамы?

В дополнение вошли четыре эссе переводчика Г. М. Кружкова, посвященные интригующим и не до конца проясненным вопросам, касающимся поэмы Шекспира и его сонетов.

Содержание

Предисловие	5
Поэмы	7
Венера и Адонис	7
Жалобы влюбленной	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Уильям Шекспир

Поэмы

© Г. Кружков, составление, предисловие, статьи, перевод, 2014

© В. Левик, перевод. Наследники, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Предисловие

Для всего мира Шекспир, прежде всего, автор «Гамлета», «Ромео и Джульетты», «Отелло» и других знаменитых пьес – трагедий и комедий, непревзойденный драматург, чьи пьесы переведены почти на все языки мира и более четырех веков не сходят со сцены. Его произведения, предназначавшиеся не для театра, а для чтения – поэмы и сонеты – известны, вообще говоря, меньше; хотя у нас, в России, сонеты Шекспира приобрели исключительную популярность благодаря переводам С. Маршака, опубликованным в 1948 году¹.

Парадокс заключается в том, что в эпоху Шекспира быть автором поэтических книг было престижнее, чем драматургом – то есть ремесленником, поставляющим продукцию для развлечения простого народа. Поэтому Шекспир и называет поэму «Венера и Адонис», напечатанную в 1593 году, «первенцем моей фантазии», хотя к тому времени он уже был автором, по крайней мере, полудюжины пьес, с успехом идущих на лондонской сцене. Именно «Венеру и Адониса» он считал своим литературным дебютом.

В посвящении юному графу Саутгемптону (блестящему вельможе и известному покровителю искусств) он пишет: «Боюсь, не оскорблю ли я Вашу милость, посвящая Вам эти несовершенные строки, и не осудит ли меня свет за избрание столь мощной опоры для такой легковесной ноши; но если я заслужу Ваше одобрение, то сочту это за величайшую награду и поклянусь употребить весь мой досуг, чтобы почтить Вас более достойным творением. Если же первенец моей фантазии окажется уродом, я буду устыжен, что выбрал ему столь благородного крестного отца, и никогда более не дерзну возделывать неплодородную почву, приносящую столь убогий урожай...»

«Первенец фантазии» не оказался уродом – наоборот, он принес своему автору славу среди образованной публики; говорят, что лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах.

Между тем, чума, выгнавшая актеров из Лондона и давшая Шекспиру досуг для сочинения «Венеры и Адониса», после некоторого перерыва снова пришла в город. Театры и другие места развлечений были закрыты постановлением лондонского мэра. У Шекспира вновь образовывалось свободное время, которое он мог употребить на сочинение стихов. Ободренный успехом первой поэмы, он делает вторую попытку и преподносит свой новый труд тому же графу Саутгемптону; но тон его посвящения на этот раз более уверенный, он упоминает о «доказательствах Вашего лестного отношения ко мне» – по-видимому, первая поэма была принята благосклонно.

«Обесчещенная Лукреция» (*The Rape of Lucrece*, 1594) в полтора раза длинней первой поэмы Шекспира и написана более изощренно – не шестистишиями, как «Венера и Адонис», а семистроичной строфой с тройными рифмами, так называемой «королевской строфой», введенной в английскую поэзию Джеффри Чосером.

В основу поэмы положен сюжет из древнеримской истории, описанный Титом Ливием и Овидием, пересказанный тем же Чосером в его «Легендах о добрых женах». Мрачный тон этой вещи контрастирует с ярким и жизнерадостным колоритом «Венеры и Адониса»; но и «Лукреция» также имела немалый успех у читателя и шесть раз переиздавалась при жизни автора.

Сонеты Шекспира, которые современники называли «сладостными и медоточивыми», после его смерти два века пробыли в опале и пренебрежении, и лишь романтики вновь оце-

¹ С тех пор многие пытались превзойти Маршака, заменить его «упрощающие» и «извращающие оригинал» переводы на свои, правильные; но убедительно это сделать до сих пор никому не удалось.

нили их и привлекли к ним внимание публики. Уильям Вордсворт писал, что «этим ключом Шекспир открыл нам свое сердце» (*with this key Shakespeare unlocked his heart*). Вокруг этого тезиса и развернулся двухсотлетний спор, который продолжается до сих пор. Действительно ли эти сонеты автобиографичны, и если да, то до какой степени? Какие жизненные коллизии таятся за угадываемым нами сюжетом сонетного цикла? Существовал ли в действительности любовный треугольник, о котором говорится в сонетах 133, 134 и 144? Кто был прототипом Друга и Смуглой дамы? И наконец – или, может быть, это должно стать первым вопросом – было ли первое издание 1609 года авторизовано или его напечатали пиратским образом, без ведома автора, в неисправном и перепутанном виде?

Дискуссии вокруг шекспировских сонетов не остывают. Особенно они полюбились «антистрадфордianцам», выдвигающим на место автора шекспировских произведений графа Оксфорда, либо графа Ретленда, либо Кристофера Марло, либо Фрэнсиса Бэкона или кого-то еще из современников великого Барда. Здесь они нашли богатую пищу для своих космопирологических теорий и фантастических построений. Справедливы, по-видимому, слова авторитетного критика Эдмунда Чамберса, сказанные еще в 1930 году: «О шекспировских сонетах было написано больше глупостей, чем о любом другом произведении Шекспира». И все-таки тайна «Сонетов» продолжает мучить умы, и фраза Вордсворта о «ключе к сердцу Шекспира» по-прежнему искушает исследователей.

Кроме сонетов, «Венеры» и «Лукреции», мы включили в это издание маленькую поэму «Жалобы влюбленной». Она была напечатана в издании 1609 года под одной обложкой с сонетами и, в отличие от других приписываемых Шекспиру стихов, признана большинством шекспироведов как подлинно шекспировская вещь.

В «Дополнение» вошли четыре эссе составителя, посвященные интригующим и не до конца проясненным вопросам, касающимся поэм Шекспира и его сонетов.

Г. Кружков

Поэмы

Венера и Адонис

*Vilia miretur vulgus: mihi flavus Apollo
Pocula Castalia plena ministret aqua².*

Высокопочтимому Генри Ризли,
графу Саутгемптону, барону Тичфорду

Высокопочтимый Сэр,

Боюсь, не оскорблю ли я Вашу милость, посвящая Вам эти несовершенные строки, и не осудит ли меня свет за избрание столь мощной опоры для такой легковесной ноши; но если я заслужу Ваше одобрение, то сочту это за величайшую награду и поклянусь употребить весь мой досуг, чтобы почтить Вас более достойным творением. Если же первенец моей фантазии окажется уродом, я буду устыжен, что выбрал ему столь благородного крестного отца, и никогда более не дерзну возделывать неплодородную почву, приносящую столь убогий урожай. Представляю его на Ваше милостивое рассмотрение и желаю Вашей милости благополучия и исполнения всех Ваших сердечных желаний для блага света, возлагающего на Вас великие надежды.

*Всегда к услугам Вашей милости,
Уильям Шекспир*

В тот час, когда в последний раз прощался
Рассвет печальный с плачущей землей,
Младой Адонис на охоту мчался:
Любовь презрел охотник удалой.
Но путь ему Венера преграждает
И таковою речью убеждает:

«О трижды милый для моих очей,
Прекраснейший из всех цветов долины,
Ты, что атласной розы розовой,
Белей и мягче шейки голубиной!
Создав тебя, природа превзошла
Все, что доселе сотворить могла.

Сойди с коня, охотник горделивый,
Доверься мне! – и тысячи услад,
Какие могут лишь в мечте счастливой

² Низким пусть тешится чернь; а мне Аполлон величавый / Сладкой кастальской струей доверху чашу наполнит (лат.).

Пригрезиться, тебя вознаградят.
Сойди, присядь на мураву густую:
Тебя я заласкаю, зацелую.

Знай, пресыщенье не грозит устам
От преизбытка поцелуев жгучих,
Я им разнообразье преподам
Лобзаний – кратких, беглых и тягучих.
Пусть летний день, сияющий для нас,
В забавах этих пролетит, как час!»

Сказав, за влажную ладонь хватает
Адониса – и юношеский пот,
Дрожа от страсти, с жадностью вдыхает
И сладостной амброзией зовет.
И вдруг – желанье ей придало силы –
Рывком с коня предмет свергает милый!

Одной рукой – поводья скакуна,
Другой держа строптивца молодого,
Как уголь, жаром отдает она;
А он глядит брезгливо и сурово,
К ее посулам холоднее льда,
Весь тоже красный – только от стыда.

На сук она проворно намотала
Уздечку – такова любви прыть!
Привязан конь: недурно для начала,
Наездника осталось укротить.
Верх в этот раз ее; в короткой схватке
Она его бросает на лопатки.

И быстро опустившись рядом с ним,
Ласкает, млея, волосы и щеки;
Он злится, но лобзанием своим
Она внезапно гасит все упреки
И шепчет, прилепясь к его устам,
«Ну нет, браниться я тебе не дам!»

Он пышет гневом, а она слезами
Пожары тушит вспылчивых ланит
И сушит их своими волосами,
И ветер вздохов на него струит...
Он ищет отрезвляющее слово –
Но поцелуй все заглушает снова!

Как алчущий орел, крылом тряся
И вздрагивая зобом плотоядно,
Пока добыча не исчезнет вся,

Ее с костями пожирает жадно,
Так юношу прекрасного захлеб
Она лобзала – в шею, в щеки, в лоб.

От ласк неукротимых задыхаясь,
Он морщится с досады, сам не свой;
Она, его дыханьем упиваясь,
Сей дар зовет небесною росой,
Мечтая стать навек цветочной грядкой,
Поимой щедро этой влагой сладкой.

Точь-в-точь как в сеть попавший голубок,
Адонис наш – в объятиях Венеры;
Разгорячен борьбой, розовощек,
В ее глазах прекрасен он без меры:
Так, переполняясь ливнями, река
Бурлит и затопляет берега.

Но утоленья нет; мольбы и стоны,
Поток признаний страстных и похвал –
Все отвергает пленник раздраженный,
От гнева бледен, от смущенья ал.
Ах, как он мил, по-девичьи краснея!
Но в гневе он еще, еще милее.

Что делать в этакой беде? И вот
Богиня собственной рукой клянется,
Что слез, катящих градом, не уймет
И от груди его не оторвется,
Покуда он, в уплату всех обид,
Один ей поцелуй не возвратит.

Услышав это, он насторожился,
Как боязливый селезень-нырок,
Скосил глаза – и было согласился
Ей заплатить желаемый оброк,
Но близкий жар у губ своих почуя,
Вильнул и ускользнул от поцелуя.

В пустыне путник так не ждал глотка,
Как жаждала она сей дани страстной;
Он рядом – но подмога далека,
Кругом вода – но пламя неугасно.
«О мой желанный, пощади меня!
Иль вправду ты бесчувственной кремня?»

Как я тебя сейчас, меня когда-то
Молил войны неукротимый бог;
Набыча шею грубую солдата,

Рабом склонялся он у этих ног,
Униженно прося о том, что ныне
Без просьбы ты получишь у богини.

На мой алтарь он шлем свой воздевал,
Швырял свой щит и пику боевую –
И мне в угоду пел и танцевал,
Шутил, дурачился напропалую,
Смирив любовью свой свирепый нрав
И полем брани грудь мою избрав.

Так триумфатор прежде необорный
Был красотой надменной покорен;
В цепях из роз, безвольный и покорный,
Побрел за победительницей он.
Но, милый мой, не стань еще надменной,
Сразив ту, кем сражен был бог сражений.

Дай губы мне! Зачем поник твой взор?
Что он в траве так рьяно созерцает?
Вскинь голову и погляди в упор
В мои зрачки: ты видишь, как мерцает
Прекрасный образ, отраженный там?
Глаза в глаза – так и уста к устам!

Боишься целоваться ты при свете?
Зажмуримся, чтоб яркий день погас,
И ночь, скрывающая все на свете, –
Блаженной темнотой укроет нас.
Фиалки ничего не понимают,
А если и поймут, не разболтают.

Пушок незрелый над твоей губой
Как будто просит сам: прильни, отведай!
Лови же миг, отпущенный судьбой,
Не будь ни гордецом, ни привередой:
Цветы, когда весной их не сорвут,
Перестояв, увянут и сгниют.

Будь я черна, уродлива, горбата,
Как лошадь старая, изнурена,
Хриплоголоса и подслеповата,
Груба, занудлива и холодна, –
Такая бы любого отвратила.
Но чем же я тебе не угодила?

Взгляни: мой взор искрится, как слюда,
Нет ни морщинки на челе высоком;
Я, как весна, бессмертно молода,

Свежа, кругла, полна сладчайшим соком,
Моя ладошка влажная, лишь тронь,
Растает, ощутив твою ладонь.

Велишь – твой слух обворожу мечтами,
Как фея, по лужайке пробегу,
Или с распущенными волосами
Как нимфа, закружусь на берегу,
Едва касаясь муравы несмятой:
Любовь – огонь высокий и крылатый.

Смотри: головки хрупкие цветов
Мой нежный стан покоят, как подпоры,
И без усилья пара голубков
Влечет меня в небесные просторы;
Любовь легка, когда ей путь открыт:
Так что тебя, мой милый, тяготит?

Иль собственной пленен ты красотой,
Всем жертвуешь, одну ее любя?
Ну что ж! Ухаживай сам за собою,
Чаруй себя и отвергай себя;
Умри от страсти, как Нарцисс несчастный,
Увидевший в ручье свой лик прекрасный.

Богатства существуют для даров,
Деревья сада для плодоношенья,
Изысканные яства для пиров,
Самовлюбленность – это поношение
Любви; ты факел – так изволь светить,
Ты был зачат – продли зачатий нить!

Как смеешь ты вкушать дары природы,
Коль сам не хочешь приносить плодов?
Погибнет семя, но родятся всходы –
Закон всеобщий бытия таков.
Пусть красоту твою замкнет надгробье:
Ты предаешь векам свое подобье».

Меж тем Венеру прошибает пот:
Исчезла тень, и воздух раскалился,
Титана взор с пылающих высот
На прелести богини обратился;
Он бы прилег охотно рядом с ней,
Адонису отдав своих коней.

А что же наш охотник? Туча тучей,
Он темную насупливает бровь
И, рот кривя усмешкою колючей,

Цедит с досадой: «Хватит про любовь!
Пусти, – мне зноем обжигает щеки;
Невмоготу лежать на солнцепеке».

«О горе мне! Так юн и так жесток!
Меня покинуть ищешь ты предлога.
Я вздохами навею ветерок
На этот лоб – о не гляди так строго! –
И осенью шатром своих волос,
И окроплю прохладой свежих слез.

Я тенью собственной тебя укрою,
Преградой стану между двух огней;
Не так небесный луч томит жарою,
Как близкий жар твоих земных очей.
Меня б спалил, будь я простою смертной,
Двух этих солнц огонь немилосердный!

Зачем ты неподатлив, как металл,
Как мрамор, горд бездушной белизною?
Ужель ты мук любви не испытал?
Да женщиной ли ты рожден земною?
Когда бы так она была тверда,
Ты вовсе б не родился никогда.

Молю, не дли невыносимых пыток,
Одно лобзанье, милый, мне даруй.
Какой от губ моих – твоим убыток?
Ответь мне – или сразу поцелуй:
С лихвой я возвращу тебе подарок,
И каждый поцелуй мой будет жарок!

Не хочешь? Ах ты, каменный болван!
Безжизненная, хладная статуя!
Раскрашенный, но мертвый истукан!
Ты не мужчина, раз от поцелуя
Бежишь, – в тебе мужского только вид:
Мужчина от объятий не бежит!»

Излила гнев – и будто онемела,
Грудь стеснена, окостенел язык;
Она других любовь судить умела,
Но в тяжбе собственной зашла в тупик:
И плачет от бессилия, и стонет,
И речь невнятная в рыданьях тонет.

То льнет к нему умильно, как дитя,
То сердится, то за руку хватает,
И, пальцы с пальцами переплетя,

Удерживает и не отпускает;
То взор отводит, то глядит в глаза –
И шепчет, обвивая как лоза:

«Любимый мой! в урочище весеннем,
За крепкою оградой этих рук
Броди где хочешь, будь моим оленем,
Я буду лесом, шепчущим вокруг;
Питайся губ моих прохладной мятой,
Пресытишься – есть ниже край богатый:

Там родинки на всхолмиях крутых
И влажные ложбины между всхолмий,
Там ты в чащобах темных и глухих
Укроешься от всех штормов и молний;
Нигде не встретишь хищного следа,
Пусть лают псы – им входа нет сюда!»

Адонис рассмеялся – и тотчас
Две ямки на ланитах проступили:
Их вырыл Купидон, чтоб в смертный час
В сей нежной упокоиться могиле;
Хитрец предвидел: не погибнет он,
Но будет вновь любовью воскрешен.

Две этих ямки пропастью бездонной
Разверзлись пред Венерой. Мрак и тьма!
Как ей хватило духу, оскорбленной,
Снести удар и не сойти с ума?
О, как могла она, любви царица,
В спесивца бессердечного влюбиться?

Но что теперь ей делать, чем помочь?
Слов больше нет, и ожиданья тщетны.
Из плена рук ее он рвется прочь,
Моления остаются безответны.
«О, смилуйся, не покидай меня!» –
Но он уж мчится отвязать коня.

Но что это? Испанская кобылка
Из ближней рощи, празднуя весну,
С призывным ржаньем, всхрапывая пылко,
К Адонисову мчится скакуну;
И конь могучий, зову не противясь,
Спешит навстречу, обрывая привязь.

Плечами он поводит, властно ржет –
И прочь летят пеньковые подпруги,
Копытом острым Землю бьет в живот,

Рождая гулкий гром по всей округе;
Зубами удила сминает он,
Смирняя то, чем сам бывал смирен.

Над чуткой холкой дыбом встала грива,
Раздуты ноздри, пар из них валит,
И уши прядают нетерпеливо,
А взгляд, что кровью яростной налит
И жарок, словно уголь, огнем палимый,
О страсти говорит неодолимой.

То плавной он рысцой пройдетя вдруг
Пред незнакомкой, изгибая шею,
А то взбрыкнет, запрыгает вокруг:
Вот, дескать, погляди, как я умею!
Как я силен! Как на дыбы встаю,
Чтоб только ласку заслужить твою!

И что ему хозяин разозленный!
Что хлыст его и крики: «Эй! Постой!»
Теперь его ни бархатной попоной
Не залучить, ни сбруей золотой!
За милюю следит он жадным взглядом,
К наезднику поворотившись задом.

Когда у живописца верный глаз,
То может он своим изображеньем
Саму Природу превзойти подчас:
Так этот конь и мастью, и сложеньем,
И силою, и резвостью своей
Превосходил обычных лошадей.

Копыта круглые, густые щетки,
Нога прямая с выпуклым плечом,
Крутая холка, шаг широкий, четкий,
И рост, и пышный хвост, – все было в нем,
Что доброму коню иметь пристало;
Вот только всадника недоставало!

Хозяйской больше не страшась руки,
То вдруг затеет танец он игривый,
То мчится с ветром наперегонки,
Волнистою размахивая гривой,
В которой струи воздуха свистят;
И кажется, что этот конь крылат.

Он зрит свою любовь и к ней стремится,
Призывным ржаньем оглашая дол;
Она же пылких ласк его дичится,

Лукавая, как весь прекрасный пол,
Отбрыкиваясь от его объятий:
Ей, дескать, эти нежности некстати!

Тогда, уныньем тягостным объят,
Повеся хвост, что, возвышаясь гордо,
Обвеивал его горячий зад,
Он бьет копытом и мотает мордой...
Тут, бедного страдальца пожалев,
Она на милость свой меняет гнев.

Меж тем хозяин в злости и в обиде
Уже спешит коню наперерез.
Не тут-то было! Ловчего завидя,
Кобылка прынула и мчится в лес;
За нею жеребец летит в запале.
Вороны вслед метнулись – но отстали.

Что делать! На траву охотник сел,
Браня своей коняги подлый норов.
Благоприятный случай подоспел
Венере для дальнейших уговоров.
Несчастной, как терпеть ей немоту?
Тем, кто влюблен, молчать не вмоготу.

Огонь сильней, когда закрыта дверца,
Запруженная яростней река;
Когда безмолвствует ходатай сердца,
Клиент его погиб наверняка.
Невыносима боль печалей скрытых,
Лишь излиянье умиротворит их.

Он надвигает на глаза берет,
Почувствовав богини приближенье,
И, новою досадой подогрет,
Насилу сдерживает раздраженье
И равнодушный напускает вид;
Но сам за нею искоса следит.

О, сколь она прелестна в ту минуту,
Тревогой нежною поглощена!
Ланиты отражают мыслей смуту,
В них алой розы с белою война:
То бледностью они покрыты снежной,
То вспыхивают молнией мятежной.

Какая у нее в глазах мольба!
Встав на колени, с нежностью какою
Она его берет, подняв со лба,

Любимых щек касается рукою:
Подобно снегу свежему – мягка,
Прохладна и нежна его щека.

Глаза глядят в глаза, зрачки сверкают
На поединке взоров роковых:
Те жалуются, эти отвергают,
В одних любовь, презрение в других.
И слез бегущих ток неудержимый –
Как хор над этой древней пантомимой.

Его рука уже у ней в плену –
Лилейный узник в мраморной темнице;
Она слоновой кости белизну
В оправу серебра замкнуть стремится;
Так голубица белая тайком
Милуется с упрямым голубком.

И снова, сладостной томясь кручиной,
Она взывает: «О, звезда моя!
Когда бы я была, как ты, мужчиной,
А ты был в сердце ранен так, как я,
Я жизни бы своей не пощадила,
Чтоб исцелить тебя, мучитель милый!»

«Отдай мне руку!» – негодует он.
«Нет, сердце мне мое отдай сначала,
Чтоб, взято сердцем каменным в полон,
Оно таким же каменным не стало,
Бесчувственным и черствым, как ты сам,
Глухим к любовным стонам и слезам!»

«Уймись, – вскричал Адонис, – как не стыдно!
Из-за тебя я упустил коня;
Потерян день нелепо и обидно.
Прошу тебя, уйди, оставь меня!
В душе одна забота – как бы снова
Мне заарканить жеребца шального».

В ответ Венера: «Прав твой пылкий конь,
Он оказался у любви во власти;
Порою должно остужать огонь,
Чтоб не спалил нам сердца уголь страсти.
Желание – горючий матерьял;
Так мудрено ли, что скакун удрал?»

Привязанный к стволу уздой твоею,
Стоял он, как наказанный холоп,
Но, увидав подругу, выгнул шею,

Махнул хвостом и бросился в галоп,
Ременный повод обрывая с ходу,
Почуя вожденную свободу.

Кто, милую узрев перед собой
На посрамленной белизне постели,
Не возжелает, взор насытя свой,
Насытить и уста? О, неужели
Столь робок он, что и в холодный год
Замерзнет, но к огню не подойдет?

Так не вини же скакуна напрасно,
Строптивый мальчик, но усвой урок,
Как пользоваться юностью прекрасной;
Его пример тебе да будет впрок.
Учись любви! Познать ее несложно;
Познав же, разучиться невозможно.

«Не ведаю и ведать не хочу! –
Он отвечал. – Куда милей охота
На кабана; мне это по плечу.
Любовь же – непомерная забота,
Смерть заживо, как люди говорят,
Восторг и горе, небеса и ад.

Кто ходит в неотделанном кафтане?
Срывает впопыхах зеленый плод?
Когда растение теребить заране,
Оно увянет, а не расцветет.
Коль жеребенка оседлать до срока,
Не выйдет из коня большого прока.

Ты штурмом не добьешься ничего;
Не надо жать ладонь – что за нелепость!
Сними осаду с сердца моего.
Для страсти неприступна эта крепость.
Слабо твое искусство в этот раз –
Подкопы лести и бомбарды глаз».

«Как? Ты умеешь быть красноречивым? –
Воскликнула она. – О горе мне!
Твой голос, вопреки словам бранчливым,
Как зов сирен, томит меня вдвойне:
Укор певучий, распря слов и звука,
Для слуха музыка, для сердца мука.

Будь я слепа, один бы голос твой
Меня влюбил в невидимое тело;
Будь я глуха, – узрев тебя впервой,

Я б на других смотреть не захотела;
Будь мой удел – и тишина, и мгла,
Я кожей бы любить тебя могла.

А если бы исчезло осязанье,
И слух, и зреньё (так вообразим!)
И мне осталось только обонянье,
Ты не был бы прохладнее любим:
Я бы дышала аурой пьянящей,
Из этих уст желанных исходящей.

О, что за пир устроить мог бы Вкус,
Когда бы он, как пестун и питатель
Всех прочих чувств, призвал бы их в союз
И повелел, веселья председатель,
Изгнать Печаль и запереть замок,
Чтоб Ревность не проникла за порог!»

И вновь раскрылись пурпурные створы,
Готовя выход взвихренным речам, –
Как рдяно-облачный восход, который
Крушеньё предвещает кораблям,
Урон посевам, пахарю досаду,
Грозу и бурю – пастуху и стаду.

Волк скалится пред тем, как зарычать,
Стихает ветер перед ливнем ярим;
Еще он речи не успел начать,
Но как внезапной молнии ударом
Или как пулей гибельной, она
Предчувствием дурным поражена

И, слабо вскрикнув, навзничь упадет!..
Такую силу взгляд в себе несет:
Он и казнит любовь, и воскрешает,
И богатеет заново банкрот.
Как быть юнцу? Он с видом ошалелым
Захлопотал над неподвижным телом.

Забыта вмиг суровая хула,
Что с уст его чуть было не слетела.
Любовь беднягу славно провела,
Уловку тонкую пустивши в дело;
Не дрогнут веки, не встрепещет грудь –
Лишь он сумеет жизнь в нее вдохнуть!

То по щекам ее немилосердно
Он шлепает, то зажимает нос,
То пульса ищет, пробуя усердно

Поправить вред, что сам же и нанес;
К устам недвижимым льнут его лобзанья –
О, век бы ей не приходиться в сознание!

Но вот, как день идет на смену мгле,
Ее очей лазурные оконца
Раскрылись; как на сумрачной земле
Жизнь воскресает с появлением солнца,
Так осветился лик ее тотчас
Живительным сиянием этих глаз.

Обласкан их рассветными лучами,
Он мог удвоить сей чудесный свет,
Но злая хмурица над юными очами
Нависла, как предвестник новых бед.
Ее же взор, слезами преломленный,
Блестел, как пруд, луною озаренный.

Она вздохнула: «Где я? Что со мной?
Тону ли в бездне или в огне сгораю?
Что ныне – полдень или мрак ночной?
Живу ли я еще или умираю?
Коль это жизнь – за что такая боль?
Коль смерть – зачем она отрадна столь?»

О, воскресив, меня ты губишь снова!
Твой взгляд надменный в грудь мою проник
По наущенью сердца ледяного –
И насмерть поразил в тот самый миг,
Как взор мой, поводырь души незрячей,
К твоим устам припал с мольбой горячей.

О дивные, целебные уста,
Вы милосердней глаз! Да не увянет
Сей дружной пары пыл и красота
В сближеньях сладостных! Когда ж нагрет
Чума, что звездочеты нам сулят, –
Ваш аромат развеет смертный яд.

Чистейшие уста! Свой оттиск милый
Оставьте на устах моих опять.
О, я любую сделку бы скрепила
Такой печатью! Всю себя продать
Тебе готова; дело лишь за малым:
Поставь клеймо на этом воске алом!

За тысячу лобзаний хоть сейчас
Отдам я душу – что мне дорожиться?
Скупец! Каких-то десять сотен раз

К моим устам всего и приложиться!
И двадцать сотен – невеликий труд!
Плати, пока недорого берут!»

«Царица! Коль тебе считать охота,
Мои лета незрелые сочти.
Детеныша, попавшего в тенета,
Пускают прочь: ступай, мол, подрасти!
Коль вправду любишь, будь же терпелива:
Поспев, сама спадает с ветки слива.

Взгляни: светильник мира скрылся прочь,
Покоем и прохладой веет воздух,
Сова из чащи возвещает ночь,
Стада уже в загонах, птицы в гнездах.
Густые тени тянутся к теням...
Пора проститься и расстаться нам.

Скажи: спокойной ночи! – и за это
Я поцелуй тебе прощальный дам». «Спокойной ночи, милый!» – и, ответа
Не дожидаясь, к сладостным устам
Она, как бешеная, приникает
И юношу в объятия замыкает!

Он – словно пташка у ловца в горсти;
Насилу, оторвавшись, удается
Ему дыхание перевести;
Она как будто пьет и не напьется...
И оба валятся, не устояв,
На ложе из цветов и пышных трав.

Тут жертва покоряется напору,
Тут губы алчные творят разбой,
А губы-пленники без уговору
Уже готовы выкуп дать любой –
Единственно в надежде на пощаду;
Но нет с воительницей страстной сладу!

Войдя во вкус лихого грабежа,
Она добычи требует свирепо –
И льнет к нему, пылая и дрожа,
Желанью сердце предавая слепо.
Вся кровь ее бунтует и кипит:
Рассудок оттеснен и стыд забыт.

Разгоряченный от ее усилий,
Вконец измаянный упорством их,
Как загнанная лань в чащобе – или

Малец, что накричался и утих,
Смирясь, он покорился ей устало.
Но ах! Ей этого покорства мало.

Как воску не растаять над огнем,
Будь поначалу он упорней стали?
Любовь и предприимчивость вдвоем
Каких препятствий не преодолевали?
И неудача страсти не страшна:
Чем ей трудней, тем горячее она.

Любовь не испугать суровым взором;
Кто отступает слишком рано – глуп.
Смирись она тогда с его отпором,
Не пить бы ей нектара с этих губ.
Но кто дерзает, тот срывает розы
И не боится получить занозы.

И в сотый раз взмолился дурачок
И просит позволения удалиться;
Удерживать насильно – что за прок?
Она принуждена с ним согласиться:
«Прощай! прощай! и помни, милый мой,
Что жизнь мою уносишь ты с собой!

Прекрасный мальчик! Ты в своей гордыне
Ужель совсем бесчувствен и незряч?
О, кинь соломинку моей кручине
Назавтра мне свидание назначь!» –
Нет, завтра он не может дать свиданья:
Охота предстоит ему кабанья.

«Кабанья?!» – Ужасом поражена,
Заиндеветшей розы став бледнее,
К нему на грудь бросается она,
Всем телом виснет у него на шее,
Дрожит – и навзничь падает вдруг,
Не выпуская юношу из рук.

Позиция ему победу прочит:
Она – под ним, а он – над ней. И что ж?
Боец – в седле, но в бой скакать не хочет,
Ничем его упрямыства не проймешь.
Как насладиться ей желанным раем?
Элизий близок, но недостижим.

Так среди влаги с пересохшим ртом
Тантал страдал от жажды и от глада,
Иль пташки бедные – перед холстом,

Обманутые видом винограда.
Вотще она старается юнца
Разжечь, целуя в губы без конца –

Увы, не хочет он воспламениться!
Все перепробовано вновь и вновь,
Но проку нет, увы! – любви царица,
Любя, не может пробудить любовь.
«Ну, хватит, хватит! – молвит он устало. –
Не тискай, ты меня всего измяла».

«Зачем ты мне сказал про кабана?
Я бы тебя давно уж отпустила;
Но ты не знаешь, милый, как страшна
Лесного борова слепая сила.
Опомнись! Лезвия его клыков
Острее, чем ножи у мясников.

С ним, необузданным, шутить не стоит,
Он может льва осилить, разъярен;
Не зря он всюду рылом землю роет –
Своим врагам могилы роет он.
Встать на его пути поди попробуй!
Из пасти – пена; взгляд сверкает злобой;

Загривок вздыблен; мощные бока
Исходят с хрипом ненавистью дикой,
Щетинистая шкура столь крепка,
Что не пробьешь ее и медной пикой.
Он ломится сквозь чашу без тропы;
И что ему колючки и шипы!

Он не оценит совершенств телесных,
В которых взгляду любящему – пир,
Ни дивных губ, ни этих глаз прелестных,
Что юным блеском озаряют мир:
Он выкорчует красоту земную
Безжалостно, как яблоньку лесную!

Так сторонись же логовищ его!
Прекрасному – что делать с безобразным?
Послушайся совета моего:
Не обольщайся гибельным соблазном.
Ты помнишь, как я сделалась бледна,
Узнав, что ты идешь на кабана?

Как вспыхнули глаза, полны тревоги,
Провидя зло и горе впереди,
И как внезапно подкосились ноги?

Мой милый! леж на моей груди,
В которой бьется страх, ища спасенья,
Ты чувствуешь толчки землетрясения?

Как быть? Повсюду, где Любовь царит,
Бессменно Страх на страже пребывает;
Чуть что, тревогу громко он трубит,
К оружию громогласно призывает.
А для Амура эта суетня
Губительней, чем влага для огня.

Сей подлый Страх, спокойствия предатель,
Болячка, пожирающая цвет
Любви, сей ненадежный предсказатель,
Чьи вести – то ли правда, то ли нет,
Стучится в сердце мне тайком – и глухо
Про смерть твою нашептывает в ухо.

Ужасный образ мне рисует он:
Свирепый зверь с клыками наготове;
И юноша, что перед ним, сражен,
Лежит растерзанный, в потоках крови;
Померкнув, смотрит солнце с высоты,
И никнут обагранные цветы.

Могу ли я, предчувствия скрывая,
Забыть про это или страх унять?
Что делать мне, печаль моя живая?
Как мне теперь пророчицей не стать?
Смотри: в слезах оракул твой клянется:
Охота завтра смертью обернется!

Но если должен выйти ты на лов,
Зачем тебе искать тропу кабанью?
Лови лисиц или перепелов,
Скачи во весь опор за робкой ланью
Иль зайца, свору верную спустив,
Трави верхом средь пажитей и нив.

Увертлив заяц! Как он ошалело
Летит, не чуя под собою ног,
Виляя и петляя то и дело,
Чуть что, бросаясь опрометью вбок,
И хочет оторваться от облавы,
Проскакывая сквозь плетень дырявый.

Порою, чтоб со следа сбить собак,
Выносятся он к овцам на пригорок,
Иль, в два скачка перемахнув овраг,

Меж кроличьих прошмыгивает норок,
Или в оленье стадо мчит с холма:
Опасность учит, страх дает ума.

Борзые мечутся в недоуменье,
Юлят, поскуливая от стыда,
Пока в густейшем запахов смешенье
Не обнаружат старого следа –
И вновь несется лай; и вторит эхо,
Как будто в небесах идет потеха.

Меж тем косой, ушами шевеля,
Прислушивается настороженно –
И вняв летящим вдаль через поля
Раскатистым и рьяным звукам гона,
Дрожит, как старец, хворью изнурен,
В ночи слыша погребальный звон.

Прыжок – и вновь он мчится наугад,
Спасения ища от псов матерых,
Кусты колючие его язвят,
Любая тень пугает, каждый шорох.
Все гонят оказавшихся в беде,
Увы, им нет сочувствия нигде!

Так погоди, еще послушай малость;
Не вырывайся, милый, не пущу!
Прости, коль я немного заболталась,
Ведь я отговорить тебя хочу
От схватки с диким вепрем; и не диво,
Что в горести любовь красноречива.

О чем вела я речь?» – «Мне все равно;
Пусти!» – «О, снизойди к моей тревоге
И выслушай!» – «Оставь; уже темно:
Я упаду, не разобрав дороги».
Она в ответ: «Мой мальчик, не ворчи:
Желанье – лучший поводырь в ночи.

А если и споткнешься ты случайно,
Знай: то земля подвох изобрела,
Чтобы к тебе прильнуть хотя бы тайно;
Сама Диана, девственно светла,
Украсть лобзанье с губ твоих мечтает:
Сокровище и честных соблазняет.

Сказать ли, отчего вдруг Феб исчез
И смерклись небеса? – От возмущенья
Природой, что похитила с небес

Огонь богов для твоего рожденья,
О юноша, затмивший красотой
И блеск луны, и солнца свет златой!

Но Цинтия, увы, возревновала:
Она, Природы замысел поправ,
С непрочностью телесною смешала
Чистейшей, горней красоты состав;
И совершенство стало хрупким дымом,
Для всех скорбей и пагуб уязвимым.

Чохотка, лихорадка и чума,
И всякая проклятая зараза,
Припадки, помрачение ума,
Нарывы, язвы, оспа и проказа –
Все это жизни противостоит
И гибель красоты в себе таит.

Малейшая из этих кар нещадных
В единый миг способна погубить
Улыбку, голос, блеск очей отрадных!
Все, что влекло влюбляться и любить,
Растает – и исчезнет незаметней,
Чем глыба льда в горячий полдень летний.

Забудь же целомудрия уклад,
Безлюбие монашек и весталок,
Что землю обезлюдить норовят;
Лишающий себя потомства жалок.
Будь щедрым! Лампа догорит в ночи,
Но кинет миру светлые лучи.

Ужель в глухом и темном склепе тела
Грядущее ты хочешь погрести,
Сгубить детей, которых повелела
Тебе судьба на свет произвести?
Презрен презревший заповеди жизни –
Он веселится на своей же тризне.

Сам на себя он мятежом идет;
Он хуже, чем тиран и кровопийца,
Который сына смерти предает;
Он безнадежней, чем самоубийца.
Зарытый клад – бесплодной глины пласт:
Ни прибыли, ни пользы он не даст».

«Оставь! Бесцельны эти сожаленья, –
Адонис отвечал. – И не толкуй
Без толку: ты гребешь против течения.

Напрасно я потратил поцелуй.
Пусть ночь темна и льстива, точно сводня, –
Клянусь, ты не собьешь меня сегодня!

Будь у тебя сто тысяч языков
И волшебство сирен сладкоголосых,
Что обольщают песней моряков
В чужих краях, на гибельных утесах,
Меня не околдует голос твой!
Моя решимость, верный часовой,

Стоящий на посту во всеоружье,
От лживых звуков ограждает слух.
Твои слова останутся снаружи,
Пока внутри мой бестревожный дух,
Не слушая коварной песни дальней,
Спокойно спит в своей опочивальне.

Речам твоим невелика цена,
Ты зря меня прозвала бессердечным;
Нет, не любовь – распущенность гнусна,
Что нудит обниматься с первым встречным.
Ты в этом видишь размноженья прок;
Какой смешной для похоти предлог!

Любовью не зови разврат бесчинный;
С тех пор, как Похоть, в раже и в поту,
Укрывшись нагло под чужой личиной,
Порочит и пятнает красоту,
Как червь, грызущий листья чистотела, –
С тех пор Любовь на небо отлетела.

Любовь, как правда, вечно молода,
А Похоть – лицемерье и притворство,
Любовь не пресыщает никогда,
А Похоть умирает от обжорства.
Любовь – рассвет, а Похоть – мрак и тьма;
Они – враги, как лето и зима.

Я бы сказал еще, да проку мало:
Оратор юн, а проповедь стара;
Об очевидном спорить не пристало.
Прощай, я ухожу; давно пора.
Такого я наслушался, что чудо,
Как от стыда я не сгорел покуда».

Сказал – и из прекрасных этих рук,
Удерживавших счастье что есть мочи,
Освободясь, через росистый луг

Умчался прочь в росистый сумрак ночи:
Так исчезает с неба метеор,
В недоуменье оставляя взор.

Венера вслед ему глядит с тоскою:
Так смотрят с берега в морскую тьму,
Стремясь осиротевшею душою
К уехавшему другу своему;
А там уже и точки нет в тумане –
Лишь волны с ветром в бесконечной брани.

Растерянно, как тот, кто уронил
В пучину моря перстень свой волшебный,
Как путник, чью лампаду загасил
В полночной чаще ураган враждебный,
Она осталась в безнадежной мгле,
И путь, и цель утратив на земле.

В отчаянье, не ведающем меры,
Она бьет в грудь себя – и долгий стон,
Наполняя все окрестные пещеры,
Гудит, тысячекратно отражен.
«О горе, горе мне!» – и эхо, вторя,
Ей возвращает восклицанья горя.

И в песне изливается печаль;
Она поет о том, что счастье трудно,
О том, что юным ничего не жаль,
И что любовь мудра и безрассудна...
И вновь рождает скорбь наплыв скорбей,
И целый хор отзвучий вторит ей.

От этой песни заунывно-длинной
Долготерпенью ночи вышел срок;
Что слушатель наскучен их кручиной,
Влюбленным слишком часто невдомек.
Едва они доходят до финала,
Оглянутся – а публика сбежала.

Кто в этот час остался рядом с ней?
Одно лишь эхо – вроде прихлебая,
Что угождает госпоже своей,
Во всем капризам дамы потакая;
Он верный отзвук слов ее любимых –
И чихом подтверждает каждый чих!

А в это время, радостною песней
Наполня голубеющий эфир,
Взмывает жаворонок в поднебесье

И звонкой трелью пробуждает мир.
Верхушки кедров и предгорий склоны
Под ним сияют, солнцем позлащёны.

Венера шлет свой утренний привет
Светилу: «О владыка мирозданья!
Лучи созвездий ярких и планет –
Лишь слабый отблеск твоего сиянья;
Но есть рожденный матерью земной,
Что блеском превосходит образ твой».

Сказала так – и поспешила к чаще,
Тревожась, не послышится ли вдруг
Издалека – охоты лай летящий
И хриплого рожка призывный звук;
И, в самом деле, слышит звуки гона
И мчится им навстречу окрыленно.

Кусты хотят ее остановить,
Хватая платье цепкими сучками;
Но нет, не удержать богини прыть!
Так лань, томясь набухшими сосками,
Стремится, вырываясь из тенет,
Туда, где в роще олененок ждет.

Она спешит, надежде слабо веря,
Предчувствиями грозными полна,
И слышит: гончие настигли зверя –
И содрогается, поражена,
Как будто встретя на пути гадюку,
Смятенье своры угадав по звуку.

Не жертва робкая, а сильный враг
Пред ними – вепрь, или медведь страшный,
Иль гордый лев: недаром лай собак
Так злобен и труслив одновременно;
Они друг другу уступают честь,
Кому на зверя первому насесть.

Тот лай зловещий судорогой боли
Пронзил ее и до нутра проник;
Страх, в сердце утвердившись вместо воли,
Все члены порастил бессильем вмиг:
Так войско, видя гибель полководца,
Бросается вразброд или сдается.

Напрасно, обомлев и трепеща,
Она унять старается тревогу,
Или, на сердце робкое ропща,

Рассудок призывает на подмогу,
Твердя, что это – бред, мираж, обман!
Но тут из чаши выскочил кабан,

С клыков роняя розовую пену, –
Пронесся мимо – и пропал в кустах,
Рождая страху старому на смену
В душе Венеры новый, худший страх;
Отчаянье, надежда, гнев и жалость –
Все в голове у ней перемешалось.

Куда бежать – вперед или назад?
Она, спеша, бесцельно суетится:
То бросится сквозь дебри наугад,
То вдруг застынет или воротится –
Как пьяный, мечущийся наобум,
Когда горячка замутняет ум.

Навстречу ей, зализывая рану
И жалобно скуля, кобель хромой
На трех ногах бежит через поляну.
Она с вопросом: «Где хозяин твой?»
И горемыка, истомленный боем,
Ей отвечает заунывным воем.

А вслед за ним другие голоса,
Объединяясь в трауре собачьем,
Согласно оглашают небеса
Своим протяжным похоронным плачем.
Струится из обвислых губ тоска,
Кровоточат помятые бока.

Есть множество примет, что поневоле
Страшат сердца и нищих, и владык;
Так мудрено ли, что она от боли
Едва не задохнулась в этот миг,
Поверя злему предзнаменованью,
И смерть осыпала нещадной бранью:

«Костлявый призрак, ненавистный всем,
Тля, гложущая мир, слепая сила,
Тиранка лютая, – скажи, зачем
Ты с жизнью и любовью разлучила
Того, кто в юной красоте своей
Был ярче розы, ландыша нежней?

О, если бы могла ты убедиться,
Как светел он, как молод и хорош!
Но нет! пусты, как ночь, твои глазницы,

Ты, метя в старость, наудачу бьешь –
И часто, попадая мимо цели,
Младенца поражаешь в колыбели.

Проклятая! Кому грозила ты,
Готовясь выстрелить напропалую?
Рок повелел тебе щадить цветы,
Сбирая в мире жатву роковую.
Для стрел золотых Амура он созрел,
Увы, – а не для Смерти черных стрел.

Ужели слезы всех напитков слаще?
Иль вздохи для тебя отрадны так?
Зачем ты этот взор, как день, блестящий
В крошечный, вечный погрузила мрак?
Природы наилучшее творенье
Сгубила ты – и нет тебе прощенья!»

Она, умолкнув, силится сдержать
Сребристые ручьи, что вниз по щёкам
На грудь ее, уставшую страдать,
Свергаются сверкающим потоком;
Но горьких струй неудержим разбег:
Он отворяет снова шлюзы рек.

Глаза и слезы – можно ль ближе слиться?
Они друг друга зрят, как в зеркалах,
И не понять, что за печаль творится:
Слеза в глазах или глаза в слезах?
То дождь – то ветер веет на ланитах:
Их вздохи сушат, горе вновь кропит их.

В ее беде сошлось так много бед,
Что трудно даже выбрать между ними;
И мнит любая, что ей равных нет,
И верховодить хочет над другими.
Но нет одной беды – есть тьма невзгод,
Затмившая ненастьем небосвод.

Как вдруг сквозь шелест листьев в отдаленье
Охотничий послышался ей клик;
Все страхи, все ужасные виденья
В ее душе рассеялися вмиг:
Она почти уверена, что слышит
Адониса – и вновь надеждой дышит.

Иссяк неудержимых слез ручей;
Как перлы в хрустале, насквозь мерцая,
Они застыли в глубине очей.

Лишь изредка беглянка дорогая
Скатится по щеке на луг сырой
И с пьяною смешается землей.

О страсть упрямая, как ты нелепа!
Без удержу ликуя и скорбя,
И отвергаешь ты, и веришь слепо,
Лишь крайности любезны для тебя.
То зеленю надежды ты увита,
То черной безнадежностью убита.

Она спешит скорее распустить
Ткань траурную, что сама соткала:
Адонис жив; не должно Смерть винить,
Но честь ей и хвалу воздать пристало.
«О госпожа! – она взывает к ней. –
Тень грозная, царица всех царей,

Не гневайся на выходку шальную!
Без памяти от страха я была,
Когда передо мной сквозь дебрь лесную
Промчался злобный вепрь. Такая мгла
Отчаянья рассудок мой затмила,
Что я тебя, безумная, бранила.

Моя ли в том вина, что мой язык,
Вспылив, не удержался от хулений?
Не я – кабан твой гнусный клеветник,
Он – подстрекатель ярых обвинений.
Зверь дикий виноват, ему и мсти;
А безрассудству женскому прости».

Так, дабы вновь надежды не лишиться,
Она резоны ищет на ходу,
Стремясь вернее к Смерти подольститься
И отвести от милого беду, –
И воздает хвалу ее трофеям,
Победам, подвигам и мавзолеям.

Она стыдит себя: «Могло ли быть,
Чтоб умер он? Как я могла, блажная,
Скорбеть о том, кто жив и должен жить,
Пока не сгинет красота земная:
Ведь если он умрет, умрет любовь
И черный хаос воцарится вновь.

Уймись, о сердце глупое, не прыгай!
Ты так всего пугаешься, дрожа,
Как над сокровищем своим сквалыга

Трясется, опасаясь грабежа...»
Едва лишь вымолвила это слово,
Как из лесу рожок раздался снова.

Быстрее, чем сокол на приманку мчит,
Она на звук призывный полетела;
И вдруг – о небо, что за жуткий вид! –
Зрит юноши растерзанное тело.
Померкли очи, скорбь свою кляня:
Так меркнут очи перед блеском дня.

Как робкая пугается улитка,
Едва ее случайно кто толкнет,
И рожки в норку втягивает прытко,
И глубже прячется в свой круглый грот;
Сему подобно взор ее затмился
И вглубь орбит в испуге обратился.

Рассудок, внявши донесенью глаз,
Велит им не высовываться боле,
Чтоб паники не поднимать тотчас
И не тревожить сердца на престоле:
Но властелин уже осведомлен:
Протяжно, гулко воздыхает он.

И подданных монарха дрожь объемлет:
Так ветер стонет из земных пустот –
И, выхода ища, пласты колеблет
И основания земли трясет.
Почуя общий трепет и тревогу,
Глаза ее раскрылись понемногу –

И видят то, что видеть суждено:
Глубокой раны страшный след багряный;
Все тело юноши окроплено
Пурпурными слезами этой раны;
Цветы и травы – все в крови вокруг,
Кровоточит от состраданья луг.

Венере внятны эти знаки скорби;
Смертельной судорогой сведена,
Повесь голову и плечи сгорбя,
От горя задыхается она.
О, как ее глаза могли дотолле
Рыдать, не зная настоящей боли!

Она глядит так пристально, в упор,
На рану, – что в глазах ее туманных
Двоится вид: она корит свой взор,

Стеня и сетуя о новых ранах.
Мрачится ум, кружится голова;
Пред нею – не одно лицо, а два.

«О горе, два Адониса убитых!
Будь у меня лишь тысяча сердец,
Не вынести им двух печалей слитых;
Тут надобно не сердце, а свинец.
Но и свинец расплавится, конечно,
В огне гудящем скорби безутешной!

О мир несчастный, как ты оскудел!
Не возместить в потомстве человечьем
Сокровища, которым ты владел;
Увы, тебе похвастать больше нечем;
Навек умолкли музыки уста,
И умерла на свете красота!

К чему отныне шляпки и вуали
Жеманницам? – им нечего терять;
На них и солнце поглядит едва ли,
И ветер вряд ли станет задевать.
А как старались эти два буяна,
Адониса тревожа непрестанно!

Бывало, сдвинет шляпу он вперед,
Чтоб солнце щек не мучило нещадно, –
А ветер-вертопрах ее сорвет;
Адонис в слезы – так ему досадно!
И солнце с ветром, прекратив разбой,
Спешат их осушить наперебой.

Свирепый лев из-за речной излучки
Шел подивиться на его красу;
Когда ж он песню запевал от скуки,
Тигр укрощенный замирал в лесу,
Волк забывал про голод свой, и козы
Паслись подолгу, не боясь угрозы.

Едва он было поглядится в пруд,
Златые рыбки подплывут и лягут
Вкруг отраженья; птицы тут как тут –
Поют ему, подносят в клювах ягод,
Малиной, вишней усладить хотят
Того, чей облик услаждает взгляд.

Но этот мерзкий боров, полный злости,
Сей гробокоп, уткнувшись в землю лбом,
Не разглядел наряд роскошный гостя

И оказал ему дурной прием.
Когда бы он сей дивный лик приметил,
Он поцелуем бы пришельца встретил.

Да, так и есть! – догадка мне не лжет:
Охотником прекрасным атакуем,
Зверь восхищенный кинулся вперед
Смирить его суровость поцелуем,
В колени тычась, ласки он просил –
И ненароком клык в него вонзил.

Будь я клыкаста, словно боров дикий,
Я бы сама убить его могла
Лобзаньем страстным... О Зевес великий!
Адонис мертв; и землю кроет мгла».
Сказала так – и падает рыдая,
К возлюбленному руки простирая.

Она, лаская, гладит бледный лоб,
В уста его безжизненные дышит
И речи шепчет нежные взхлеб
Ушам, которые ее не слышат,
Заглядывает в очи – но, увы! –
В них светочи погасшие мертвы.

Два озера прекрасных, два зеркала,
В которых отражалось божество
И красота небесная мерцала, –
Не отражают больше ничего.
«Мой милый, что за страшный сон мне снится!
Как странно: ты погиб, а время длится.

Проклятье же любви! Пускай вовек
Сопутниками будут ей печали,
Пусть отравляет сердце горечь нег,
Казавшихся столь сладкими вначале,
Пусть никогда не будет ей легко,
То низко метящей, то высоко!

Пускай ее преследуют жестоко
Обман, притворство, страх и ложный стыд,
Пускай, как хрупкий цвет, в мгновенье ока
Она, не распустившись, облетит;
Пусть разуму она несет увечье,
А глупости – напор и красноречье.

Пусть увлекает в драку сгоряча,
Толкает старца в суматоху танца,
Ощипывает ловко богача,

Задаривает щедро оборванца,
Безумствует наотмашь и навзрыд:
Юнцов дряхлит, а дряхлых молодит.

Пускай она пребудет безоглядна,
Доверчива на шепот клеветы,
Под маской милосердья беспощадна,
Коварна под личиной прямоты,
Пусть в прятки с ищущим она играет,
Страшит героя, труса подбодряет.

Пускай она несет раздор сердцам,
Лад меж отцом и сыном рушит в доме,
Пускай творит юнцам и мудрецам
То, что творит огонь сухой соломе.
За то, что мой любимый смертью взят,
Да всем влюбленным эти беды мстят!»

И вдруг – о чудо! – юноша убитый
Пред ней исчез, истаял как дымок,
А там, где он лежал в крови пролитой,
Пурпурный из земли возрос цветок:
Пурпурный в бледно-розовых потеках –
Как кровь, лежащая на бледных щёках.

Она склоняется над ним – вдохнуть
Адониса ожившее дыханье,
И со словами: «Ляг ко мне на грудь!» –
Ломает стебелек у основанья.
И капля сока у цветка внизу
Является, похожа на слезу.

«Цветок стыдливый! Как же ты, по чести,
На своего родителя похож!
Чуть что – опять глаза на мокром месте;
Ты, как и он, сам для себя цветешь –
И вянешь, о цветочек мой несчастный!
Увянь же на груди моей прекрасной!

Здесь было ложе твоего отца,
И ты ему наследуешь законно;
Так пусть тебя качает без конца
Рыданьями волнуемое лоно;
Вовеки в сладком забытии живи,
Лелеемый лобзаньями любви!»

Сказавши так, восходит в колесницу,
И стайка среброкрылых голубей,
Взлетев, несет Пафосскую царицу

Над ширью белопенною зыбей
К родным скалам, на брег первоначальный, —
Чтоб затвориться ей в глуши печальной.

Жалобы влюбленной

Я, размышляя, на холме лежал
И вдруг услышал горьких жалоб звуки.
Покатый склон, удвоив, отражал
В лазурный купол этот голос муки.
То бурно плача, то ломая руки,
Шла девушка по берегу реки
И все рвала какие-то листки.

Соломенная шляпка затеняла
Ее лицо. Хранили все черты
Печать уже разрушенной немало,
Но все еще приметной красоты.
Был облик полон юной чистоты,
Но юность от безвременной кручины
Уже оделась в частые морщины.

Она пыталась, комкая платок,
Замысловатым вышитый узором,
Соленой влаги осушить поток,
Из глаз гонимый болью и позором,
На вышивку глядела влажным взором,
И горький стон или надрывный крик
Долину оглашал в подобный миг.

То взор ее, горящий исступленно,
Казалось, небо вызывал на бой,
То в землю устремлялся с небосклона,
То в горизонт вперялся голубой,
То вновь блуждал по сторонам с мольбой
И ни на чем не мог остановиться,
Готовый лишь безумью покориться.

Ее рука волос не убрала,
Забыв кокетства милые повадки.
От полурасплетенного узла
Вдоль бледных щек вились две тонких прядки.
Другие ниспадали в беспорядке,
Но меж собой еще хранили связь,
Кой-как под сеткой нитяной держась.

Она швыряла вглубь янтарь, кораллы,
Браслеты – все, что ей дарил он встарь,
И слезы в воду светлую роняла.
Так скарред грош кидает в полный ларь,
Так шлет подарки тароватый царь

Не в то жилье, что скудно и убого,
Но в изобилье пышного чертога.

Брала из сумки новые листки –
Записки, письма нежные, – читала,
Задумывалась, полная тоски,
Читала вновь и, разорвав, кидала.
Из пачки, в шелк обернутой, достала
Другие – те, что для любимых глаз
Писались кровью в незабвенный час,

И, оросив слезами эти строки
Поблекшие, сама как смерть бледна,
Она вскричала: «Лицемер жестокий!
Так ложью кровь твоя заражена,
Что как чернила черной быть должна!»
И в гневе, разжигаемом любовью,
Она рвала написанное кровью.

Там стадо пас почтенный человек.
Гуляка в прошлом, знал он двор блестящий
И шумный город, где провел свой век,
И знал, что боль пройдет, как час летящий.
Он слышал вопли девушки скорбящей,
Приблизился – и теплые слова
К ней обратил по праву старшинства.

На палку опираясь, он садится –
Не рядом, но как вежливость велит –
И молвит ей: «Откройся мне, девица,
О чем, скажи, душа твоя болит?
Зачем ты плачешь, от каких обид?
Поведай старцу!» – Добрый от природы,
Не стал он черствым, несмотря на годы.

Она в ответ: «Отец мой, если вы
По мне прочли, как жизнь играла мною,
Не думайте, что я стара, – увы!
Не время лет, лишь горе в том виною.
И я цвела б, как розмарин весною,
Поверьте мне, когда б одну себя
Могла любить, другого не любя.

Но слишком рано я вняла, к несчастью,
Мужской мольбе – недаром было в нем
Все то, что женщин зажигает страстью.
Любовь, ища себе надежный дом,
Отвергла все, что видела кругом,
И в нем нашла свой храм живой и зримый,

Чтобы навеки стать боготворимой.

Еще он бритвой не касался щек,
Едва пушком пробилась возмужалость,
И был нежнее кожи тот пушок.
Любовью подстрекаемая шалость
Решить неоднократно покушалась,
Как лучше он – с пушком иль без пушка;
Задача оказалась нелегка!

А волосы! Подкравшись от реки,
Любил зефир в тиши ночного сада
К его губам прижать их завитки.
Сердца спешат, когда их ждет отрада;
В него влюблялись с первого же взгляда,
И рая весь восторг и волшебство
Сулил плененным томный взор его.

Прекрасен был и дух его, как тело.
Девичья речь, но сколько силы в ней!
Мужчинам в спорах он перечил смело
И, ласковый, как ветер майских дней,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.